

*Почему социология – «любимый» дискурс развития
гендерных исследований в бывшем СССР? Дискуссия
(28 октября 2009 года, Форос,
13-я Международная Школа по Гендерным Исследованиям
«Гендерные исследования: возможности для новой полити-
ческой антропологии в бывшем СССР»)*

Модератор – Наталья Загурская

Наталья Загурская: Кавычки в названии данной дискуссии отсылают к неким скрытым подтекстам, которые могут быть обнаружены и обсуждены в ходе дискуссии. В этом смысле я хотела бы обратить внимание на саму этимологию слова «социология» и акцентироваться на понятии «логос» в его составе, когда «логос» понимается как смысл. В таком случае мы сможем попытаться говорить о смысле общества – то есть не столько о том, что лежит на поверхности, сколько о каких-то глубинных смыслах, которые определяют и само общество, и, соответственно, понятие гендера в социологическом дискурсе. Поэтому я предлагаю в данном случае вернуться к истокам наук об обществе, то есть истокам социальных наук и немножко отвлечься от статистики – даже если речь идет о качественных методах. Потому что ведь даже качественные методы всегда так или иначе являются продуктом производства личности исследователя: кто исследует, как исследует, какие критерии предлагаются для анализа. Относительно статистических методов я могу, скорее, сослаться (конечно, для обострения дискуссии) на известный анекдот о средней температуре по больнице: «Один больной в агонии, другой уже умер, остывает, а средняя температура – 36.6». То есть мы можем видеть прекрасную статистику, и в то же время наполнение гендерных курсов будет таким, что это нас не устроит. Допустим, будут читаться курсы типа «мужчины – с Марса, женщины – с Венеры». Однако какую пользу принесет такой или подобный ему гендерный курс, даже если их будет много?

Кроме того, я хотела бы вспомнить еще об одной теме, о которой мы много говорили в рамках этой школы – теме становления социального субъекта. Если мы вспомним, как Владимир Малахов говорил, что когда речь идет о науке (*science* в отличие от *humanities*), то она предлагает нам как бы строгие данные.

Но в этом, как мне кажется, можно усомниться: там ведь субъективность тоже присутствует.

Повторю, что, конечно, я обостряю для дискуссии некоторые моменты. И, наверное, для ее зачина этих нескольких тезисов уже достаточно.

Екатерина Наумова: А почему социологи «западают» на гендер? (смех).

Татьяна Хавлин: А может, это гендерные исследования «любят» социологию, а не социологи «западают» на гендер?

Екатерина Наумова: Просто здесь ведь много социологов.

Татьяна Хавлин: Нет, я все-таки иначе поставила бы вопрос: почему гендерные исследования «западают» на социологию? На самом деле, это неправда, что социологи «западают» на гендер. Рейтинговые дисциплины, по которым пишутся диссертации, – это история, философия, психология. Поэтому я не сказала бы, что социология «любимее», чем другие дисциплины.

Дмитрий Воронцов: Насколько я понял тему, заявленную в дискуссии, речь идет о социологическом *дискурсе*. И тогда возникает вполне логичный ответ: раз в гендерных исследованиях пол является социальным, а социология является наукой о социуме, понятно, что гендерные исследования в своей основе имеют социологию как социологический дискурс, так как описывают пол именно как социальный феномен, а не какой-либо другой.

Татьяна Хавлин: Но вот конструктивизм гендерный... На самом деле метод социального конструктивизма «задел» не только социологию, но и другие дисциплины, массу дисциплин. Поэтому я хотела бы сформулировать парадокс: что социология так «любима» как раз потому, что у нее есть ... гендер, так называемый «гендерный подход».

Дмитрий Воронцов: Мне кажется, тут важен акцент на понятии социального. Ведь если мы посмотрим на другие гендерные исследования, которые осуществляются, например, в лингвистике, то мы скажем: это социальная лингвистика, а не вообще лингвистика. А социальная лингвистика с равным успехом может быть разделом социологии – так же, как и социальная психология может быть разделом социологии. То есть все то, что включает в себя понятие социального, вполне вписывается вот в эту, образно говоря, концепцию «огромной социологии», как ее отдельные составные аспекты. Например, даже когда сегодня кто-то занимается, скажем, генетическими исследованиями поведения человека (а именно – межличностного и социального взаимодействия), наверняка он будет «инфицирован», «заражен» какими-то социологическими концепциями. То есть тут надо акцентировать понятие дискурса: дискурс социальных наук проникает сегодня во все остальные науки.

Лариса Шпаковская: Значит, не зря факультеты социологии не разрешились в советское время: вирус они несли, «заражали»...

Дмитрий Воронцов: Вот это и есть, очевидно, предмет дискуссии.

Ирина Соломатина: Социология – молодая наука, Дюркгейму пришлось здорово потрудиться, чтобы придать ей этот «чистый» научный вид. Но социология, последняя из сложившихся наук, есть наука критическая, критикующая как себя, так и другие науки.

Лариса Шпаковская: Просто мне кажется, что здесь нужно обратить внимание на сам дискурс конструктивизма. На тот факт, что он достаточно тотальный и как бы «всеядный». Получается, что, в принципе, конструироваться может все, не только гндер, но и научные факты конструируются, не знаю, что еще. Смерть конструируется, история. Все конструируется.

Дмитрий Воронцов: Физика конструируется.

Лариса Шпаковская: И в этом смысле можно, наверное, сказать, что гндер тоже сюда «попал». И почему-то получилось так, что другие дисциплины не «отвоевали» себе так активно конструктивизм.

Татьяна Хавлин: Мне кажется, конструктивизм «проехался» по всем социальным наукам. . .

Наталья Малышева: Однако я хочу заметить, что при том, что хотя конструктивизм, например, в социальной психологии официально считается, ну, такой почти что генеральной линией, однако с конструкционистских позиций написанная книга как нечто серьезное не воспринимается. То есть конструктивизм в социологии – это да, это вот позволяет анализировать гндер, а вот в других социальных дисциплинах, оказывается – не очень. . .

Дмитрий Воронцов: Конструкционизм и конструктивизм – просто разные вещи. Принципиально.

Наталья Малышева: Да, в когнитивной психологии есть, например, такое понятие как «ментальный конструкт». И это – конструктивизм, а конструкционизм – это про то, как эти конструкты создаются. И в психологии преобладает, скорее, именно конструкционизм – то есть, как развивается в отношениях и создается то, что мы называем, в частности, гендерными отношениями. А если использовать определение «любимый», то для социальной психологии это – понятие «гендерный стереотип».

Дмитрий Воронцов: Ну, тогда давайте говорить уже не стереотип, а схема – в терминах конструктивистской теории. Хотя во многих кандидатских работах по социальной психологии эта теория часто выдается за конструкционизм, который чаще всего понимается как когнитивистский подход, когда схематизированное восприятие реальности (когнитивная схема) накладывается на некую объективную реальность. Но никакого конструирования реальности там нет.

Ирина Соломатина: Но в социологии есть.

Дмитрий Воронцов: Да, именно в социологии возникает теория социального конструирования реальности Бергера и Лукмана (*Социальное конструирование реальности*). А потом, соответственно, теория социального конструктивизма (или конструкционизма, если отделять его от теории когнитивных конструктов

Дж. Келли) перекладывается на любой социальный феномен, чего не было в социальной психологии никогда. Именно эта версия конструктивизма превратила любой социальный феномен в феномен, который создается людьми в процессе общения и взаимодействия. И уже в этом аспекте она могла бы быть импортирована в социальную психологию, которая занимается общением на межличностном уровне. Но вот тут как раз и возникает такой вот ступор, просто сбой когнитивный, потому что и конструктивизм Дж. Келли начинает пониматься как конструкционизм, и наоборот. И в результате гендер продолжает трактоваться многими психологами просто как когнитивная схема, которая не возникает ни в каком общении и взаимодействии.

Наталья Малышева: Я с тобой согласна. Я немного другое хотела сказать, что, даже вот зная вот эти нюансы и занимаясь именно психологией, у меня возникает очень большой пиетет именно перед социологией, потому что вот там они делают это круто.

Дмитрий Воронцов: Вот отсюда и доминирование социологического дискурса – в том числе в гендерных исследованиях. Была создана особая методология, которая переворачивает саму социологию в первую очередь. Этому способствовала понимающая социология, социология микроуровня, где идет анализ общения, тесно пересекающийся с психологическими феноменами. И эта методология распространяется на всю социальную систему: все, как говорила Лариса, является конструктом. Например, биология является способом конструирования знания о биологии. И тогда, соответственно, вот эта идея гендера, которая возникла сначала в психологии как некоторый социальный аспект пола, позволила с социологической точки зрения описать гендер не как аспект, а как особую категорию, которая позволяет раскрыть сущность всей социальной системы отношений.

Наталья Малышева: Да, для меня, например, эта методология – ключевая. И она легко транспортируется в социальную психологию именно потому, что это – социологическая методология. Это понятно. Но проблема для меня состоит в том, что на уровне конкретных исследований в социальной психологии (например, в моей диссертации мне не нравится моя эмпирическая часть, она такая классическая) трудно применить методологию конструктивизма: иначе я могу быть обвиненной в том, что занимаюсь социологией, а не психологией. Именно в этом смысле я как раз и ставлю проблему: что я, например, не могу найти способ применения методологии конструктивизма (а не конструкционизма) в своей дисциплине.

Татьяна Хавлин: А какие методы вы в своей дисциплине применяете?

Наталья Малышева: В принципе, у нас тоже есть качественные интервью и их анализ, но у нас возникает, как мне кажется, больше сомнений в качестве результатов – причем, именно когда речь идет о гендерных исследованиях. Потому что когда исследование в маркетинге делается с помощью качественных

методов и интервью, никаких вопросов не возникает. Как только речь идет про гендер, то сразу возникают вопросы: а вот что вы тут проинтерпретировали? Что-то феминистское?

Дмитрий Воронцов: Потому что это вопросы *политической* организации науки психологии. В маркетинге – можно, в отношении пола – нельзя.

Екатерина Наумова: А есть какие-то другие интерпретации гендера, кроме качественно-количественных?

Татьяна Хавлин: Если говорить о методах исследования, то они или качественные, или количественные. Количественные – это цифры, а качественные – это смыслы, если просто.

Екатерина Наумова: Я просто хочу понять, как еще можно использовать гендер по-разному, по-другому, так как гендер является междисциплинарным понятием. Мы можем говорить о гендере в контексте и социологии, и психологии, и философии. Насколько я поняла, для социологии каким-то образом гендер может являться и методом, и объектом исследования. А вот в философии гендер выступает, как, скажем, то, через что может возникать *новая научная* традиция. Например, есть классическая философия, когда мы говорим о целостном субъекте. А если мы вводим понятие «гендер», то мы имеем уже дело с другим, ну, например, расщепленным субъектом. Или еще с каким-то...

Ирина Соломатина: В классической философии субъект не имеет пола, возраста и все-таки предполагается, что он мужчина «в самом расцвете сил», способный управлять своими чувствами, более того он – европеец. Это фаллоцентристская и евроцентристская модель, утверждающая превосходства разума над чувствами.

Екатерина Наумова: Так в том то и дело, что с 80-х годов появляются теоретики культуры и философы – Тереза де Лауретис, Ив Кософски Седжвик и так далее, то есть те женщины, которые находятся на такой промежуточной научной позиции. Я здесь апеллирую скорее к феминизму, чтобы сказать о репрезентации женского.

Ирина Соломатина: Тогда надо вспомнить Симону де Бовуар, которая впервые вводит новую философскую категорию «второго пола», точнее, концепцию женской субъективности как *иного*. Симона де Бовуар как бы «запустила» женскую субъективность в философский дискурс, и это стало толчком к формированию двух различных методологических подходов к интерпретации женской субъективности в современной философии феминизма: *эссенциалистский* подход к проблеме субъекта (где женский опыт/субъективность едины); *анти-эссенциалистский* подход (рассматривающий идентичность, в том числе и женскую, как плюральную, а опыт как противоречивый, децентрированный, множественный).

Наталья Малышева: И это опять возвращает нас к социологии, потому что она является основой теоретического (в том числе философского) анализа

в гендерных исследованиях.

Татьяна Хавлин: Ну, я бы так не сказала: если ты как психолог придешь на защиту, а у тебя будет диссертация по социологии или философии...

Маргарита Гудова: А мне кажется, что наша задача – стараться выстраивать все-таки какую-то новую взаимодополняющую методологию анализа гендера, несмотря на то, что у каждой науки есть свой, что называется, ракурс и дискурс. Поэтому, если идет речь о том, в чем специфика философского видения, и в чем – социологического, мне кажется, философия пытается определить, описать и помыслить гендер. И с этой точки зрения, гендер для философии – это, с одной стороны, предмет исследования, а с другой стороны – метод. А социология эту философскую категорию мышления, ставит, что ли, на почву реальной жизни. И с этой точки зрения, социология гендера и должна делать то, что называется у Фуко «исчислять», применив количественные методы, и на этой основе создать теоретическую модель работы самых разнообразных вариантов гендера. А философия затем, как вторичная рефлексия, опять способна помыслить эти процессы и создать некий метатекст. Поэтому, мне кажется, что вот эта взаимосвязь социологии, философии и других дисциплин и должна быть такая «любовная»: притяжение-отталкивание, которое позволит...

Ирина Соломатина: Так не будет никогда.

Маргарита Гудова: Как же не будет, если уже есть? Если вы возьмете, например, Макса Вебера, то кто он: социолог или философ? Или Юлия Кристева, кто она такая: филолог или философ?

Екатерина Наумова: Да Кристева вообще – психоаналитик.

Маргарита Гудова: Вот, значит, есть еще и третья позиция – психоаналитик. И это значит, что у нас – как представителей разных социальных и гуманитарных дисциплин – есть общий предмет. И это самое важное. А вот методы у каждой науки свои собственные, но хорошо бы нам вообще представлять, чем занимаются коллеги из других дисциплин. Потому что это – и есть процесс взаимообучения. Нельзя замыкаться в своей узкой области, и мы видели на примере всех лекторов школы, что каждая/ый из них, будучи специалистом в своей проблеме, репрезентировал в то же время более широкий научный контекст.

Татьяна Хавлин: Макс Вебер себя, в конце концов, как я поняла, социологом считал. Сколько таких примеров универсальных – и философов, и социологов. И сейчас, как мне кажется, идет, несмотря на вот эту междисциплинарность, с которой мы здесь столкнулись, именно специализация знания.

Маргарита Гудова: Вот смотрите, на этой школе Олег Аронсон с одной стороны – философ, с другой стороны, он сказал: «Я – социолог искусства». Точно так же Владимир Малахов: с одной стороны – философ, а с другой – политолог. И так далее.

Алла Митрофанова: Подождите, мне кажется, что мы вот так убегаем от содержания. А содержание состоит в том, что вот я не знаю, когда (может, десять

или двадцать лет назад) произошла очень странная вещь во всех наших науках: поменялись основания. И в социологии, и в философии и др. дисциплинах были субъект и объект анализа. А потом это все куда-то как бы «провалилось». С другой стороны, мы открыли во всех наших дисциплинах какую-то новую сферу понимания, а именно – как *становятся* вещи. И открыли-то, собственно, ящик Пандоры, когда со всеми категориями надо по-новому работать. Но проблема сейчас, как мне кажется, состоит в том, что этот ящик Пандоры «выпускает» какие-то понятия (в социологии, в философии, в психологии и других социальных науках), за которыми мало что стоит. Такой зоопарк гендерных различий. Более того, сопровождающая эти открытия речь, с одной стороны, кажется либеральной (вот теперь у нас «все есть»), а с другой – не понятно же, что есть. И при этом еще произведена такая странная совершенно политика, которая называется гендерное равенство. Мне кажется, что это политически опасная штука, если внимательнее посмотреть на то, как она работает. Ведь раньше человек был редуцирован к социально-экономическому субъекту, то есть количеству денег, времени, труда, чтобы как-то корректировать общественные отношения. Это была очень болезненная редукция, потому что она сразу «ударилась» по субъекту, по свободе, по деятельности. Но с ней еще можно справиться, потому что она не касается бессознательного. А дальше из ящика Пандоры мы получаем то, что нам лично близко: вот эти травмы, желания – и начинаем редуцировать их к как бы схваченному в экспрессии бессознательному. И дальше мы редуцируем к этим желаниям субъекта: он вот пожелал зверушку – и он зверушку получил. А он уже не может. Но дальше под это подводится политика. И это политика вот такого гендерного распределения. А человек захотел быть, скажем, черным гомосексуалом и сыграл эту роль. Но парадокс состоит в том, что дальше ему из этой роли уже не «выпрыгнуть»: он стал великим композитором, а его все равно играют только в гомосексуальных клубах.

Но это еще не все. Вот сегодня утром мы обсуждали такой вот хороший закон гендерного равенства, когда детей можно отдать отцу, потому что он больше зарабатывает. То есть все сложные различия отношений ребенка с матерью и с отцом игнорируются. И вот получается, что на основе дискурса гендерного равенства мы совершаем злостное преступление против антропологических и экзистенциальных оснований. Другими словами, мне кажется, что этот новый тип анализа, который открыл бессознательное и который вот так вот легко, не подумав, произвел множество ложных феноменов, вступает в политику как регулятивный принцип. По-моему, вот это и составляет опасность новой политической ситуации.

Татьяна Хавлин: Но социологии не интересно бессознательное, она не занимается бессознательным, потому что это – удел психологии. Она занимается тем, как бессознательное становится социальным в процессе, ну, не знаю, как человек в толпе проявляет себя, как он реагирует... Но само бессознательное,

на мой взгляд, не является предметом исследования социологии.

Екатерина Наумова: Тогда не говорите «бессознательное», говорите: мы занимаемся «толпой».

Лариса Шпаковская: Возвращаясь к вопросу о гендере, я как раз хотела спросить, а почему, собственно, психоанализ не является мейнстримом как дискурсом, то есть тем значимым дискурсом, который говорит о гендере?

Дмитрий Воронцов: Для социологии – не является.

Наталья Малышева: И для анализа гендерных отношений в психологии – не является.

Наталья Загурская: Но мы не можем ни один из феноменов реальности исследовать без того, чтоб не учитывать бессознательные моменты.

Лариса Шпаковская: Нет, это все понятно, что действительно это есть. Но не является значимым моментом.

Наталья Малышева: Может быть интересным, конечно, но, действительно, не значимым.

Лариса Шпаковская: Просто знание о гендере сконструировано так (опять же возвращаясь к тому, что все сконструировано), что там нет места бессознательному.

Наталья Загурская: Разве нет?

Лариса Шпаковская: Я не говорю, что его нет в том смысле, что онтологически нет, как объяснительной модели.

Екатерина Наумова: А можно я скажу, почему нет? Потому что ни количественный, ни качественный анализ схватить бессознательное просто не могут. Потому что бессознательное может только проговариваться или проявляться в дискурсе каким-то образом. И бессознательное есть только там, где есть становление субъективности. И если мы рассматриваем бессознательное в контексте становления субъективности, а гендер как то, что является неким опытом переживания себя в этом становлении, то тогда без бессознательного мы уже не можем обойтись. А если мы не делаем ставку на становление, на гендер как категорию становления, которую (в том-то и дело) невозможно уловить ни качественной, ни количественной методологией, потому что это не оконченная и никогда не подчиненная ничему субъективность, тогда мы и не сможем описать то, что происходит и производится.

Наталья Загурская: Помните, нам Маргарита на одном из первых занятий говорила: обращайтесь к массовой культуре, она проговаривается. Но вопрос в том, можем ли мы заметить вовремя эти оговорки? И можем ли мы их проанализировать? Вот я смотрю сегодня презентацию: девушка обращается не к мужчине, а к голове шкуры медведя, которая там у них лежит. У меня сразу выстраивается следующая схема: этой паре нужен триангулянт. Триангулянтом в данном случае выступает не отец, не аналитик или кто-либо еще, но – в отсутствии оных – собственно, сама эта голова. Это единственное, что у них есть.

Может, это неудачный даже пример, непродуманный мною, потому что это я только сегодня увидела, но это как пример того, как можно по-разному работать с материалом. И что когда мы будем потом сводить все это в какие-то общие схемы, то картина будет абсолютно разной.

Но бессознательное как раз проговаривается с завидной регулярностью – если уметь его видеть или слышать.

Дмитрий Воронцов: Наташа, бессознательное – это метафора для обозначения чего-то другого. То есть оно не существует объективно, это определенный познавательный принцип, определенный принцип объяснения того, что мы видим. В социологии можно совершенно спокойно обойтись без бессознательного, назвав бессознательным нерефлексируемые принципы взаимодействия системы, которые проходят мимо сознания человека. Но система существует объективно и имеет принципы.

Алена Макарова: Просто бессознательного – как органа – в голове у человека нет. (*смех*).

Екатерина Наумова: А гендер – как орган – есть? (*смех*).

Татьяна Хавлин: Просто бессознательное не интересует социологию.

Ирина Соломатина: Оно интересует социологию, только иначе называется. Человек рождается в определенном мире, этот мир изменяется, когда мы социализуемся, проходим стадию детства, подростковости и так далее, некоторые вещи делаем «автоматически». Применение гендерной перспективы в социологии связано с осознанием того, что пол (как социально-структурная категория) определяет не только условия реальной жизни женщин и мужчин, но и системы мышления в которых происходит социализация, т.е. усвоение и тем самым – и подкрепление «норм» (ролей), но, с другой стороны, мы можем критически изменять, отклоняться от традиционных ролей. И это можно изучать, отсюда и проросла феминистская методология, которая увязала влияние социальных и институциональных структур с фрагментированным миром повседневности.

Пример Наташи про «триангулянт» (шкура медведя как медиатор) – ассоциация. Шел поиск языка любви. Как можно было вербализовать чувство сексуальности к партнеру в советское время? У Игоря Семеновича Кона есть тексты на эту тему: в Советском Союзе был либо язык мата, либо было умолчание. Как раз эти культурно обусловленные схемы, ограничивающие проявление эмоций, социология может через свой понятийный аппарат «вытащить». В другой науке это будет называться «бессознательное». Главное, что содержание остается критичным, рефлексивным.

Екатерина Наумова: Я хотела бы обратить внимание на то, что если мы говорим о бессознательном, то потому, что оно отсылает нас к желанию. А в контексте гендера мы все-таки хотим различить женское и мужское желание, потому что желание как онтологическая категория бессознательного не понима-

ется. И вот, собственно, чем занимаются теоретики культуры, психоаналитики, современные философы: они пытаются реконструировать механизм становления женского желания через анализ литературы, через анализ кинематографа и т.д. и т.п.. Но суть в том, что это метод, который все-таки несколько отличается от социологического.

Ирина Соломатина: Все верно, но я бы социологов не исключала, потому что они на примере изучения кино (и не только) пытаются расшифровать содержание социальных значений и смыслов в их визуальной символике. Почему появляются, например, визуальные методы в социологии? Интерпретация и анализ изображений помогают понять существующие культурные образцы. Много написано по поводу того, что фотография, не является простым отражением (у Зонтаг), существует двойственность изображения, отображение может скрывать идеологический посыл. Я согласна с Олегом Аронсоном по поводу того, что мы должны осторожно, на «тонких пальцах» к этому предмету прикасаться. Нужно действительно подобрать такую аргументацию и выбрать такую методологию, которая позволяет «вытянуть» что-то новое. Татьяне Дашковой (пишет о кино сталинского времени) как-то задали вопрос, не являются ли многочисленные фонтаны в сталинском кино фаллическими символами? На что она ответила, что мы, конечно, и так можем их «считать», но что это даст нам для обнаружения нового?

Екатерина Наумова: Мы можем друг к другу относиться, как к фаллическим символам (*общий смех*).

Ирина Соломатина: Если нам это что-то дает в качестве образца толкования. Если не дает – мы это должны отбросить.

Екатерина Наумова: Я как раз хочу сказать, что дает. Когда мы говорим о женском желании, мы говорим не об особенностях и не о характеристиках женского желания, что оно такое-то и такое-то, противоположность мужскому, а важно, что в современной культуре совершенно не прописано, как конституируется женское желание как таковое, то есть вне зависимости от мужского. Очень замечательно во всех концепциях прописано конституирование мужского желания. Там много теорий – и через нехватку, и через идентификацию, и через невозможное, и так далее. А женское желание проблематизируется в понятиях полноты, избыточности, бесконечности, но непонятно, на каких основаниях.

Ирина Соломатина: Поэтому и говорю: смотря, что ты берешь. Делез сравнивает становление женщиной со становлением животного. Знаешь почему? Потому что, как говорил Олег Аронсон, мужчиной стать нельзя: мы все уже есть мужчины в «нашем» мире. Чтобы стать женщиной, нужно обрести некую «перцепцию» в мужской культуре. Но чтобы это сделать, нужно очень стараться. Делез вводит логику неустойчивости, становления, так как нет знака в традиционной культуре в качестве референта для женского и/или животного, но сам этот процесс становления и дает смысл и является смыслом... Нельзя

сводить гендер только к женскому желанию, потому что категория гендера вообще связана с множественностью.

Екатерина Наумова: Нет, я не об этом говорю, я говорю о том, что надо отработать вот эту конструкцию женского как онтологическую. И я говорю об онтологии множественности. И не о субъекте, а о способах субъективации.

Ирина Соломатина: Подожди. Если есть онтология, то она подразумевает некий единый концепт мира. Не может быть онтология с множественным концептом мира.

Екатерина Наумова: А современная онтология не апеллирует к единому как таковому, она апеллирует к множественности.

Маргарита Гудова: А можно о социологии немножко? О социологии и бессознательном. Мне просто кажется, что если психоаналитик и психоанализ все-таки имеет дело с индивидуальным бессознательным, то социология дает нам великолепные примеры исследования...

Лариса Шпаковская: Бессознательное бывает и коллективным бессознательным.

Екатерина Наумова: Тогда вы сами себе противоречите, когда говорите, что социология не занимается бессознательным, и в то же время – что она занимается коллективным бессознательным.

Дмитрий Воронцов: Она не занимается в том смысле, в котором занимается психоанализ.

Маргарита Гудова: Вот я и хочу сказать, что социологию интересует как раз коллективное бессознательное. Чем занимается Бенедикт Андерсон, когда он пишет о воображаемых сообществах? Он исследует коллективное бессознательное, которое эти сообщества собирает.

Екатерина Наумова: Или разваливает (*общий смех*).

Маргарита Гудова: Или разваливает – что угодно. И, тем не менее, когда Андерсон анализирует механизм становления нации, это именно вот эти самые бессознательные интенции. И нации «собираются», по Андерсону, переживая свое коллективное бессознательное стремление к конструированию языка, территориальной экспансии, и памяти об изначальных временах. И современная социология после Бенедикта Андерсона исследует самые разнообразные социальные формы существования коллективного бессознательного.

Татьяна Хавлин: Я хотела бы ответить Алле по поводу того, что было сказано об экспертизе гендерного равенства. На самом деле я согласна с вами, что есть то негативное, о котором вы говорите, но на самом деле есть и много позитивного в этом, в экспертизе гендерного равенства. Например, если бы не было этой экспертизы, не пришли бы к выводу о том, что женщины, выполняя ту же работу, зарабатывают на двадцать процентов меньше, чем мужчины. И тогда можно это регулировать. И много других примеров. А по поводу отцовства – известно, например, что в Украине восемьдесят процентов отцов при раз-

воде прекращают свое отцовство. То есть мы исходим из того, что материнство естественно, если родить, а материнство воспитывать – это уже социальный факт. А почему отцовство не может быть социальным? Почему отец должен прекратить свое отцовство после развода? Я согласна, что это неправильный принцип брать материальное состояние, это действительно... Но на самом деле, если мы все время отдаем ребенка женщине, то мы ущемляем отцовство. Кто будет защищать отцовство тогда?

Алла Митрофанова: Я говорила о том, что гендерные категории являются способом редукции многих жизненных проблем. Вообще-то термин «гендер» родился, если говорить образно, как «нож» по разрезанию сущностей. Была сущность – например, человек, гражданин – и казалось, что все этим описывается: сущность «мужчина», сущность «женщина». А вот этот «гендерный нож» показал, что сущностей нет. Но почему-то перестал удерживать вот этот деконструктивный очищающий момент и наплодил новые сущности. И сейчас плодит регламентирующие политики. А наша этическая задача – удерживать вот этот, собственно, творческий потенциал этого термина. А удерживать его можно, пользуясь междисциплинарной «подпиткой»: сделали что-то философы, что-то социологи. То есть не позволять вот этой инерции (социологии, например, или другой социальной дисциплине) строить репрессивные политики.

Татьяна Хавлин: А что вы называете репрессивными политиками? Репрессивные политики создаются там, где есть госуправление, когда говорят: «Надо сделать план». Вот они могут осуществлять репрессивные политики, а социология – это наука.

Ирина Соломатина. Но вот Владимир Малахов нам рассказывал, как проблематичен концепт науки...

Татьяна Хавлин: Ну, тогда давайте поставим под сомнение науку и разбежимся...

Екатерина Наумова: Ну, что вы: понятие «наука» давно уже поставлено под сомнение!

Наталья Малышева: Да, конечно. Но вот мы много говорим про институционализацию гендерных исследований. А ведь институционализация связана как раз с научными методами изучения. И я бы так заострила вопрос о научности в гендерных исследованиях – не идет ли здесь речь о том, что, используя научные категории, как раз гендерная теория, гендерные исследования устраивают репрессивные научные практики, потому что действительно любая наука репрессивна (и социология, и психология), как мы знаем?

Екатерина Наумова: И психоанализ...

Наталья Малышева: Но вот у меня, возможно, какой-то романтический образ гендерного психоанализа, я не очень в этом разбираюсь. Но мне кажется, что это вот как раз и есть попытка выйти за территорию этой репрессивной научности, поэтому это и становится «любимым» дискурсом. Ну, как бы да,

это привлекает, но на этом не состоишься как ученый. Социология же в этом смысле, совмещая качественные и количественные методы и находясь тем самым на территории научности, возможно, и является способом «пробить» систему научного неравенства изнутри, изменить что-то в самой системе. Это я вдруг так о кавычках в определении «любимый» вспомнила.

Екатерина Наумова: Не можем ли мы тогда сказать на основе всего сказанного, что гендер и является таким индикатором, такой категорией, такой точкой, из которой видно различие какое-то, которое вот сейчас происходит *между нами*, какие-то *противоречия* в именно этом социальном пространстве, хотя мы все относимся к социальным дисциплинам? То есть можем ли мы сказать, что гендер – это такая категория, такая функция различительная, которая работает не внутри какой-то определенной социальной дисциплины, а работает на стыке различных дисциплин, и в этом смысле оказывается индикатором, который вычленил бы все недостатки, и все главное, что есть внутри в каждой социальной дисциплине?

Ирина Соломатина: Но вот эта наша дискуссия, мозговой штурм, говорит о том, что все-таки мы не разбегаемся из этого зала, то есть не идем гулять, а пытаемся договориться, быть услышанными и понятыми. Дебатам по поводу качественных (маргинальных, саморефлективных) и количественных (легитимных, точных) методов в «нашей» социологии и шире – общественных науках, был посвящен целый номер *НЗ* №35. И эти дебаты весьма показательны и симптоматичны. То же самое мы можем наблюдать и с динамикой развития гендерных исследований на постсоветском пространстве (см. журнал *ГИ*, №15). Институционализация произошла, а прирост «настоящих» специалистов не велик. Гендерные сертифицированные программы есть только в ЕГУ (Вильнюс) и Европейском университете в Санкт-Петербурге. Благодаря институционализации во многих ВУЗах появились новые гендерные курсы, которые читают, в том числе, и «старые» преподаватели, которые еще, может, марксизм-ленинизм преподавали. Выпускаются новые учебники, но иногда получается, как И. С. Кон говорил на примере гендерной педагогики, что в таких учебниках снова пишут о традиционной полоролевой модели, где мальчиков – в голубое; девочек – в розовое. Налицо не только проблема сосуществования двух типов дискурса, претендующих на маркировку гендера, но и их странное переплетение. Один тип опирается на традиционность гендерных ролей, легитимирует роль женщины как взаимодополнительную по отношению к роли мужчины; второй ставит под сомнение эту «естественность» и взаимодополнительность ролей и предлагает рефлексию. И мы должны помнить об этих особенностях институционализации гендерных исследований у нас.

Поэтому я согласна с Владимиром Малаховым в том, что должна быть постоянная (само)рефлексия и понимание оснований своей собственной исследовательской позиции. Если мы не согласны признать естественные, базовые

принципы устройства публичного общежития (традиционные гендерные роли), то мы должны продумывать и высказывать свою аргументацию, выслушивать аргументы тех, кто согласен (научных противников), и продолжать отвечать на аргументы, отстаивая свою позицию. Поэтому нормально мы тут политически функционируем.

Наталья Загурская: А можно Жанну Чернову спросить, что вы думаете?

Жанна Чернова: О гендере или о социологии? Просто мне кажется, что в социологии существует некий кризис, недостаток некой гранд-теории актуальной, потому что конструктивизму уже энное количество лет, а попытки сделать такую парадигму, как объединительный конструктивизм, они что-то немножко прирастили, повысили эвристический потенциал, но не очень. Так же и в гендерных исследованиях есть свои проблемы. Но, наверное, каким-то образом все это разрешится, найдем какую-то гранд-теорию очередную, которая все поможет объяснить.

Наталья Малышева: Катя, вот ты и напишешь такую теорию (*общий смех*).

Екатерина Наумова: Да, интересно. Потому что, возможно, социальные науки вообще находятся примерно в такой же позиции, что и гендер.

Наталья Загурская: А теперь как раз вот Саша, если можно, выскажет свои соображения.

Александр Смулянский: Да, я хотел бы здесь вернуться к вопросу о том, почему гендерная теория так часто способна найти себе опору в социологическом дискурсе. Я просто хочу сказать, не вынося никаких оценочных суждений, о том, что сама социология возникает в пределах вполне определенной возможности – и это возможность сосчитывания тел. Сосчитывание тел возможно только в том случае, когда все тела находятся в отношении мерной эквиваленции, то есть каждое может быть обменяно на другое. Это позиция индивида с его «естественными правами». Если, скажем, мы возьмем ситуацию Возрождения, то совершенно очевидно, что равенства всех тел, возможности существования тела в качестве замененого тогда не существовало. Ведь очевидно, что тело благородного лорда или донны не может быть обменяно на тело нищего или проститутки. Сегодня же мы получаем некую среднюю меру под названием «индивид» с определенным ценником, заданным совокупностью значимостей, которые каждому телу приписываются. Появляется бренд под названием «индивид». Именно так обмен и производится, и необходимо увидеть, что вместе с этим здесь возникает то, что называется «женским полом». То есть абсолютно очевидно, что никакого «женского пола» до французской революции не было. Мария-Антуанетта не была равна, скажем, кухарке или ключнице. Но в итоге появляется именно это совпадение условий существования каждого тела как такого, которое может быть обменяно на любое другое. Потому Жан-Люк

Нанси говорит: сегодня всякое тело существует как незаменимое в качестве абсолютно заменимого, - и это сказано человеком, который не имеет никакого отношения ни к тоталитарной пропаганде, ни к каким-либо подобным вещам. Но Нанси «схватывает» возможность того, как мы можем быть – как любое тело. Для каждого тела есть место, каждое тело может быть сосчитано. И то же самое происходит с женским полом: когда нет разницы между Ангелой Меркель или любой девочкой из института, то появляется то, что мы называем «полом» и, приписывая ему некоторые категории, можем из него сделать «гендер». И поэтому совершенно очевидно, что женский гендер очень легко предоставляет себя социологии, находя ее близкой себе по условиям возникновения. Так же очевидно, что и сама социология так же легко обращается к гендеру как теме, потому что делит с ним общие основания. То есть именно в этом, возможно, и заключается та страсть, которая разыгрывается между социологией и гендером. Они находятся в одной общей укорененности, в одной общей посылке, которую никогда не артикулируют, но в которой себя охотно опознают.

Ирина Соломатина: Ты используешь любопытные метафоры, метафоры у тебя очень сочные. Но я хотела бы сказать по поводу разницы между Меркель и девочкой, она все же есть, ощутима. Если не ошибаюсь, у Елены Гаповой есть рассуждения о харасменте в Америке, где она подчеркивает, что такие суды выигрывают, как правило, состоявшиеся, статусные женщины, а вот девушки, подрабатывающие в «Макдоналдсе», даже не подают такого рода заявления. То есть, действие закона связано с социальной стратификацией: в одном случае он работает, в другом – нет. Понятно, на постсоветском пространстве только статусный мужчина будет через суд бороться за свои права на ребенка, как это сделал, например, Байсаров. Однако только через описание и анализ вот таких случаев, разных социальных позиций, мы можем сделать видимыми противоречия, которые мы пытаемся «ухватить» в наших дискуссиях. Закон о гендерном равноправии, оказывается, по-разному работает с разными социальными группами, но в тоже время закон преподносится как некое благо для всех и каждого. Вот тут и возникает манипулирование: с одной стороны, надо защищать права отцов, и это все хорошо вписывается в либерально-демократические ценности, а с другой – отцы могут быть разные...

Александр Смулянский: Я с тобой совершенно...

Алена Макарова: Но дело тут еще в том, что сам по себе любой закон – это еще не гендерное равенство. Если он не подержится другими мерами в области социальной политики, он может обернуться в свою противоположность. Это как традиционные политики, где реально за мужчинами закрепляется больше прав, чем за женщинами. Поэтому говорить только о законе – это совсем не то, что говорить о политиках гендерного равенства.

Александр Смулянский: Я хочу сказать, что я совершенно согласен с этими репликами, но я так же хотел обратить внимание, что выдвигать различ-

ные претензии к неравенству, видеть ущемления мы можем лишь тогда, когда мерка уже задана. То есть само возмущение указывает на то, что мы знаем эту мерку, и она называется «правами». То есть когда мы наблюдаем очаги неравенства – гендерного, или социологического, или родительского, очевидно, что мы можем опознавать их как неравенство именно потому, что сегодня существует та самая универсальная позиция, с помощью которой должны обмениваться вот эти самые отдельные тела, «незаменимые в качестве абсолютно заменимых». То есть сам счет, даже счет неравных, возможен потому, что есть некая мерка исчисления. И эта мерка исчисления и дает нам возможность говорить о том, о чем мы говорим, сколько бы примеров для критики у нас не было.

Наталья Малышева: Но вот если вы говорите о правах, то почему вы говорите о дискурсе социологии, а не политологии, например?

Александр Смулянский: Потому что политология сохранила в своей сердцевине понятие власти, относительно которого все еще не понятно, как им пользоваться.

Лариса Шпаковская: А почему? В социологии ведь очень хорошо проработано понятие власти.

Александр Смулянский: Я думаю, что социология знает, что такое власть, но знает по-своему. Здесь для нее нет затруднения, она может это посчитать. Я же говорю о философской политологии.

Лариса Шпаковская: Но как раз политология – я, может быть, не совсем вот в этом понимаю – больше занимается там такими вещами, связанными со сравнениями и подсчетом. Понятно, что еще есть определенная иерархия вот этих иерхизированных субъектов, которые могут становиться объектом анализа. То есть если вы выбираете анализ политической системы, то это гораздо более легитимный объект анализа, чем какой-то там гендер. И поэтому, может быть, это отражает еще иерархию всех социальных наук, политология в ней, возможно, более такая уважаемая дисциплина, чем социология, которая к тому же – ну, что ли, более феминизирована...

Александр Смулянский: Я просто думаю, что существует политическая социология. А я говорю о философской политологии, и я неслучайно поднял вопрос именно таким образом.

Алла Митрофанова: Нет, давайте лучше вернемся к тому, что политические основания есть у каждой науки. И что, когда сталкиваются экзистенциальные субъекты, образуется реальная политика. Аристотель когда-то предложил так называемый идеальный принцип полиса и гражданства, где каждый человек «сосчитан» таким образом, что его гражданские права локализованы. И здесь нет речи о гендере, о равенстве, потому что каждый человек «сосчитан» одним только своим социальным лицом, и это социальное лицо вовсе не говорит о полноте субъективности. Поэтому наоборот, государству нельзя позволять «считать» гендеры, состояния души. А вот удерживать вот эту минимальную, но

этически взвешенную гражданскую презентацию каждого, любого бытия – вот это и есть, собственно, главная политическая цель сейчас. А когда она смешивается с мультипликацией гендерного, психологического, мы же кидаем в пасть этому дракону самое дорогое. А потом получаем фашизм. И дракон все равно это съест по-своему.

Ирина Соломагина: Но то, что вы сейчас сказали, должно носить все-таки инструментальный характер.

Алла Митрофанова: Но для начала нужно у себя как исследователя определить политическое в своей позиции исследователя.

Лариса Шпаковская: На самом деле, как мне кажется, социология, гендерные исследования существуют там, «где-нибудь на Западе», потому что существуют такие институты, которые заинтересованы в таких формах знания, которые не сводимы к тому, что производит непосредственно власть, рынок, условно говоря, когда нужна независимая экспертиза. Поэтому можно сказать, что на Западе социология существует, а в России – не знаю.

Маргарита Гудова: А, может быть, у кого-нибудь из социологов можно спросить? Вот смотрите, мы все время говорим не только «сосчитать», но еще все время у нас возникает слово «обмен», все время возникает понятие конвертации, когда мы говорим о социологических феноменах, даже о таком как гендерное равенство. То есть, когда научный концепт становится принципом конструирования жизненной реальности, он конвертируется во власть и богатство, и так далее, приобретает совершенно иной смысл, нежели имел первоначально. Это вызывает вопрос: возможно ли рассматривать гендер, допустим, в дискурсе экономической социологии?

Лариса Шпаковская: Конечно, можно.

Татьяна Хавлин: Сегрегация на рынке труда, например.

Лариса Шпаковская: Я вообще тут сошлюсь на экономистов, например, Гэри Беккера, которые делают подсчеты и строят модели выбора брачных партнеров, исходя их имеющихся в расположении у партнеров ресурсов.

Маргарита Гудова: Знаете, мне все чаще приходит мысль о том, что если мы все-таки хотим гендерную политическую антропологию как-то себе представить, то, возможно, это какая-то новая экономика символического обмена или какая-то новая символическая критика политэкономии знака, говоря бодрийеровскими словами...

Наталья Загурская: Только экономика эта – либидинальная (*смех*).

Маргарита Гудова: Да (*смех*).

Наталья Загурская: Но мне вот интересно услышать ваше мнение по поводу того, является ли гендер только социальным полом? Тут же возможны различия: гендер – социальный пол, гендер – психологический пол, гендер, в конце концов, – философский пол; культурный пол и тому подобное.

Екатерина Наумова: И вообще, «пол» ли это – «гендер»?

Наталья Загурская: Мы обычно определяем гендер посредством пола, а возможно ли без этого?

Екатерина Наумова: Давайте через различия определять будем.

Наталья Загурская: А как?

Екатерина Наумова: Не «пол» говорить, а «различия». Если мы делаем гендер какой-то категорией, посредством которой мы пытаемся осмыслить и социум, и культуру, то тогда получается, что мы упрощаем, если думаем о гендере как просто о поле.

Наталья Загурская: Может, продуктивным будет так и закончить эту дискуссию на всех тех множественных вопросах, которые в ней были, – в том числе о правомерности категориального деления на «пол» и «гендер»?